

Несколько часов не дожид Валентин Распутин до своего 78-летия. Ушёл из жизни в московской больнице. А прежде потерял супругу и двух детей. Утрата взрослой дочери, Маши, ей было 35, особенно подорвала здоровье Валентина Григорьевича. Последние годы все его разговоры были только о ней. Умирал Распутин под чтение Псалтыря и Иоанна Дамаскина.

Когда он ушёл, СМИ и власть имущие не промолчали. И на том спасибо. Появились сообщения о смерти, эпитафии. Простился с ним 17 марта, на панихиде, и Владимир Путин. Справедливая дань уважения большому русскому писателю.

Однако среди прочих было много и сообщений подобного рода: «Ушёл из жизни Валентин Распутин... его произведения, ставшие почти советской классикой...» Именно так – «почти классикой»; так писали то ли от опасения, то ли от глупости, но лишний раз подчёркивая, что нет пророка в своём Отечестве.

Слово это – «пророк» – замылилось, поизносилось. Однако именно Валентину Григорьевичу оно удивительно соответствует. Хоть и пугающе мало тех, кто видел в его повестях, рассказах именно эту, пророческую, составляющую: меж тем, едва ли не каждое его произведение свидетельствовало и давало отчёт новому ключевому разлому в народе и государстве. Так было с «Прощанием с Матёрой», где Распутин безошибочно определил ненасытный голод технического прогресса, и с «Пожаром», когда комсомольские лидеры начинали растаскивать страну, и с последней повестью «Дочь Ивана, мать Ивана», ставящей на первый план проблему справедливого наказания.

Распутин видел будущее ясно, как и настоящее, отделял лишнее, наносное. Так же тщательно он подбирал слова. Возможно, оттого и писал немного: наследие его весьма необширно. Он и сам потом сомневался, а не зря ли на время ушёл в политику, в публицистику, несколько подзабыв художественную литературу. В жизни Распутин, хоть на

трибуне он всегда выступал убедительно, ярко, также был немногословен, застенчив. Но, говоря, говорил так, что не поверить ему было невозможно.

Однако как раз-таки правду по большей части и не принимали. Потому что понимали беспощадную истинность слов. В нулевых же Валентин Григорьевич сам несколько удалился от дел. Не потому что исписался, как злословили клеветники – нет, а потому, что уже сказал важнейшее, невыразимое.

То, что Распутин исписался, было лишь одним из поклёпов, на него возводимых. Были и другие: обвиняли Валентина Григорьевича – возможно, чаще всего – и в русском национализме. Особенно после выхода в 2003 году повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Напомню, по сюжету рыночный торговец, кавказец, насилует русскую девушку, но наказания не несёт. И тогда семья пострадавшей сама ищет справедливости.

Раздался хор баламутов, обвинивших Распутина в разжигании межнациональной розни. Какие глупцы! Хоть Валентин Григорьевич, наоборот, подчёркивал свою русскость. Например, он, очень неприхотливый, в быту непритязательный, не мог обходиться без чашки крепкого сладкого чая и обязательно с печенюшкой, чтоб, как чеховские герои, сесть, потолковать о главном.

Грустно, что защищали тогда, в начале нулевых, Валентина Григорьевича громоздко и неуклюже. И почти никто не сказал главного: что повесть вовсе не о кавказцах и русских, не о межэтнических и юридических проблемах (хотя и об этом тоже), а, прежде всего, о жажде, необходимости справедливости. Справедливости, без которой не может Россия. По закону или по справедливости? И как жить, если нет ни первого, ни второго?

Смолчали в ответ. Или сделали вид, что не услышали. А тем временем писатели продолжали играть в постмодернизм, деконструируя руины смыслов, или клеймили режим, наряжаясь в патриотические рясы. Дико, но вместе с тем логично, что Распутина не принял ни один наш традиционный лагерь. Либералов, постмодернистов от наследия Валентина Григорьевича, ясное дело, воротило, а для как бы патриотов его произведения были слишком искренними, порядочными. Распутин и жил, и писал не по лжи.

Он говорил, что патриотизм – это, прежде всего, долг перед Родиной. И служение долгу давало ему силы. Не из-за материальных благ, а по совести он продолжал своё дело. И тем трагикомичнее наблюдать за якобы продолжателями дела Распутина, как бы писателями-патриотами, ещё недавно бегавшими по Болотной, а теперь ставшими самыми преданными слугами, разъезжающими на автомобилях с личными водителями, имеющими особняки и, в общем-то, неплохо устроившимися.

Валентин Григорьевич в политику шёл по морально-нравственным соображениям, веря: ещё можно бороться. Не только словом, но и делом он отстаивал русскую землю, русского человека. Защищал Байкал, боролся с поворотом сибирских рек, восстанавливал Храм Христа Спасителя.

Та же борьба за правду – и в публицистике. Я прочитал книгу «Эти двадцать убийственных лет» уже после смерти Распутина. Книга эта – сборник интервью, одно в год, Валентина Григорьевича с Виктором Кожемяко. Меня сначала расстроило то, что Распутин повторялся. А затем я понял, каких усилий, какой смелости ему это стоило – ведь он говорил о самом главном, а его не хотели слушать. Но всё, что произнёс, било в самое сердце; сколько уже из им сказанного сбылось, а сколько ещё сбудется!

Сама земля, похоже, диктовала ему. Недаром его называли писателем-почвенником, деревенщиком. Да, это справедливо, но лишь отчасти. Потому что, как это часто бывает с фигурами колоссальными, Валентин Григорьевич был намного масштабнее того явления, к которому его относили. Без «деревенской прозы» Распутин, несомненно бы, состоялся, а вот «деревенская проза» без него – вряд ли: она утратила бы полноту, стержень. Да и уже с восьмидесятых, а, может, и раньше, он работал на стыке деревни и города, выходил за хрестоматийные рамки. Его наследие нельзя сузить, однонаправить.

Наиболее точное определение писателя Распутина дал Солженицын – «нравственник». Как верно! Даже в быту Валентин Григорьевич был образцом нравственности, от него не слышали грубого слова, в творчестве же он выкристаллизовывал идею нравственности максимально. Человеческая боль,

человеческое достоинство – вот, что волновало, тревожило Распутина прежде всего.

Ведь как часто принято – стонать от лица всей земли русской, от лица всего народа. Тяжело крестьянину, погибла деревня – раздаётся хор голосов и часто утрачивает силу, сливаясь, теряя индивидуальность. Распутин, наоборот, мудро, изящно персонифицировал боль, выделяя из хор страждущих каждого по отдельности. И через судьбу конкретной Светки или Ивана передавал судьбу всего народа. Именно этот личностный голос, персонифицированный портрет и заставляли верить, негодовать, утешаться.

Есть народная правда, да – не отрицал Распутин, отстаивал её, потому что край не терпел безродства, но при этом неизменно повторял: есть и правда конкретно взятого человека, она первична, от неё нельзя отказаться в угоду общей правде, потому что поступить так значит обесценить личное горе.

Валентин Григорьевич, крестившийся уже взрослым человеком, говорил, что без Бога нет смысла жить, не то что писать. И божественное он видел в отзывчивости и сострадании, в том, чтобы ощутить и утешить боль каждого человека, с конкретным именем и бедой.

Потому Распутину верят. И будут верить через десятки лет, когда многие разочаруют. А он останется. Как остаётся совесть, просыпающаяся тогда, когда, казалось бы, очерствел, источился человек. Только совесть и может спасти. Валентин Распутин был такой совестью. Русской совестью. Его река жизни чиста и глубока. Она течёт верно, размеренно, неторопливо, принося правду и очищение, принося саму жизнь.